

...много-много-много лет тому назад, когда еще по Уэльсу бродили волки и птицы, красные, как фланелевое исподнее, трепетали над лирным изгибом холмов, когда мы пели и нежились день-деньской напролет в пещерах, пахнущих влажным воскресным вечером в деревенской зале, и отваживали англичан и медведей челюстью дьякона, еще до автомобиля, до велосипеда, до кобылы с лицом оскорбленной принцессы, когда нас несли на хребтах неседланные, веселые горки, — все шел и шел снег.*

ДИЛАН ТОМАС

* Перевод Елены Суриц.

Вере и Григорию

Часть первая

Ведьмы немь

САША СОНЛИ

Проигравшие теряют имя. Как и те, кого внезапно разлюбили. Мертвые собаки теряют имя, породу и приметы пола, они похожи, будто обломки кораблекрушения. Рассказывая о них после их смерти, вы говорите просто: моя собака любила то, моя собака делала так. Если я найду того, кто скормил моим собакам отраву, ему придется глотать стекло, я до сих пор держу в столе пузырек, который нашла на поляне.

В тот субботний вечер, когда, пройдя через вествудский лес босиком, держа туфли в руках, я вернулась домой, мне показалось, что в саду кто-то стоит, высоко подняв над головой фонарь. Приглядевшись, я поняла, что это садовая лампа, висевшая на решетке перголы, остальные были разбиты, все до одной. Я закрыла калитку, примотала проволоку и пошла по тропинке к дому, под ногами похрустывали стеклянные осколки. Дойдя до освещенного участка сада, я остановилась, заметив два темных пятна в траве, достала из сумки очки и протерла их рукавом.

Мои собаки лежали посреди заросшей мятликом поляны с закрытыми глазами, будто сраженные внезапным сном. У Хугина передняя лапа была вытянута вперед, как если бы он во сне пытался ползти, а Мунин подогнул все лапы под себя, как будто бы сильно замерз. Они были не похожи на лабрадоров, просто два пустых рукава, оторванные от собачьей дохи и забытые в траве.

Некоторое время я стояла молча, слушая, как поскрипывает проволочный крючок садовой лампы. Ветер покачивал ее едва

заметно, и свет выхватывал то спину старшего брата — цвета перца, то спину младшего — цвета горчицы. Разница между ними была в одну минуту, но они всегда знали, кто из них старший.

Потом я зашла в дом — дверь была заперта, замок не пытались взломать, — взяла в кухне железные собачьи расчески и положила обоих псов на садовый стол, сначала Хугина, потом Мунина. Пасти у обоих были открыты, виднелись кончики языков. Холодные черные носы казались сделанными из оникса, будто два набалдашника для японской трости. Я сняла свою шаль, вытерла мокрую шерсть и вычесала ее как следует, сначала гребнем, потом щеткой, до живого серебряного блеска.

Хугин и Мунин не боялись ничего, на чем шерсть растет, точь-в-точь как шестеро храбрых терьеров, описанных Вальтером Скоттом. Моих собак можно было взять только хитростью. Или это сделал кто-то из своих.

Проходя мимо теплицы, я увидела, что могилу сестры вскопали старательно и пышно, будто грядку с георгинами. Ее содержимое было раскидано по поляне вместе с пластами дерна, тряпками и роликовыми коньками. Каменный жернов, служивший надгробием, торчал из земли, будто отвалившееся от повозки колесо. Выглядело это противно и стыдно, как и полагается потревоженному кенотафу — такой, наверное, была могила Генриха Пятого, после того как в ней поискали царскую голову.

Я взяла лопату в папином сарае, вырыла яму под самшитовым кустом и положила своих собак туда, в темноту и сырость. Копать пришлось долго, я сбила пальцы до крови, но яма все равно получилась мелковатой. Потом я дошла до ворот и проверила замок — заперто. Обведя фонариком каменную стену, я заметила, что в траве что-то поблескивает, и подняла стеклянный пузырек без этикетки. Очевидно, здесь были свои — у чужих мои псы не берут угощения.

Я вернулась к могиле сестры, вытащила из земли базальтовый жернов и осторожно покатила его по дорожке, чувствуя, как горят ободранные в лесу ступни. Через лес я шла по проторенной тропе, но шишки и острые сучья там все же попадались. Мою сестру звали Эдна, хотя она предпочитала имя Алексан-

дрина, сама его придумала. Ее уход был естественным и полезным, такой же, как розмарин на ее могиле, который я иногда срываю, когда запекаю картофель с оливковым маслом.

Закончив, я бросила лопату и села на скамью возле теплицы. Что мне посеять здесь: может, белый вереск, спасающий от чумы? Что написать на базальтовом колесе? *«Где вторая из этой земли наиболее радостнейшая? Та, где больше всего останков закопано мертвых людей и мертвых собак».*

Так и напишу, у меня две банки краски осталось в сарае. И вереска сажать не стану, самое надежное средство от чумы — бежать от нее подальше. А лучшее средство от ненависти — это закопать ее поглубже. В земле сухая вражда пропитается многолетней прелью, размякнет, разъяснит себя, перестанет быть жестким проволочным комком, в котором нет ни конца, ни начала.

Плакучий бук, самшит, каменные плиты — поляна за теплицей становится все больше похожа на кладбище. Теперь здесь две могилы, одна старая, другая — новая, чернеющая свежей землей. Но я все приведу в порядок, ночь еще молода.

Мама, должно быть, расстроится, когда увидит эту надпись.

Когда мама расстраивалась, она переставала разговаривать — просто молчала, и все, будто рот у нее запекся сургучом. Она писала нам с папой записки на клочках бумаги, а служанке Дейдре не писала ничего, та сама знала, что делать. Мама была уверена, что нужно замолчать, когда действительность поворачивается к тебе спиной.

Вот и я замолчу. Скажу только вслух: прощай, моя призрачная свора, мои божественные сплетники, мои старые собаки, мои обманутые сторожа, вы были последними, кто видел моего отца живым. Все, теперь молчу.

Газет я больше не читаю. Ни газет, ни блогов, ни грязноватых завиральных простынь, хлопающих на электрическом ветру. Я читаю только книги и вишгардские рекламные буклеты, очень внимательно — потому что распродажи в местных лавках позволяют мне держаться на плаву. Каждое утро вынь да положь — молоко, джем, хлопья, бекон и тушеная

фасоль. Постояльцы требуют английский завтрак, оставляют свет в комнате, уходя на прогулку, не до конца заворачивают кран, не выключают обогреватель, увозят на память наши пушистые полотенца с монограммой КК. Но это все мелочи, хуже всего — когда постояльцев нет.

Что касается событий в мире, то они все больше напоминают мне насмешливую скороговорку министров во втором акте оперы «Турандот»: *Уж много лет живем в плену у страха... В год Мыши шестерых казнили, а в год Собаки сразу восемь... До чего мы докатились! В палачей мы превратились!*

В те времена, когда учитель Монмут приглашал меня в оперу, мы слушали ее в Ковент-Гардене, показавшемся мне похожим на пряничный домик, — учитель потом сказал, что во время войны там был танцзал, а еще раньше склад. После спектакля мы долго шли вдоль реки и я громко возмущалась, заставляя прохожих оборачиваться: стоило городить все эти леденящие душу диссонансы и звенеть китайскими колокольчиками, чтобы в финале так оглушительно соврать! Совершенно ясно, что Пуччини задумывал другой финал: принцесса должна казнить Калафа, наплевав на закон, переступив через свои обещания, презирая возможные волнения в народе. Потому что именно так работает механизм деспотии!

Монмут посмеивался, поддакивал, а когда мы дошли до Святого Магнуса и свернули налево, к нашему отелю, он вдруг остановился и серьезно сказал: в этом и заключается настоящий страх смерти. Твой замысел терзает тебя годами, ты ищешь свой финал, достойный властной, живописной завязки, выкуриваешь тонны табака и выпиваешь бочки виски, но смерть забирает тебя, и финал дописывает профан, недочка, желающий угодить публике голливудской концовкой.

Дэффидд Монмут больше не приглашает меня в оперу, мы с ним никогда не поженимся, это мой первый жених, после него был второй, а теперь есть третий. Мне тридцать лет, я ни разу никого не любила, *as innocent as a babe unborn*, как сказала бы наша служанка, — но нет, невинной я бы себя не назвала. Невинность существа есть полная приспособленность к миру, если верить Камю, — невинен тот, кто ничего не стремится доказать.

По утрам я готовлю кофе в тесной кухне, завешанной по стенам аккуратными связками мяты, чабреца и зверобоя, травы такие сухие, что стоит к ним прикоснуться, и они превращаются в пыль, так что от диких зверей и разбойников — как написано в мамином травнике — они уже не защитят. Из пекарни привозят сладкий дрожжевой хлеб, здесь его называют бармбрек, хотя это не точно — в настоящем бармбреке должны быть щепки, горох или монетки, они предсказывают судьбу. Если постоялец нет — а так теперь часто бывает, — я завтракаю одна, из кухонного окна виден морской берег, все остальные окна выходят на холмы или на англиканскую церковь цвета темной охры.

Потом я занимаюсь садом, там всегда много работы: мамина теплица, гортензии, растущие вдоль аллеи, пергола, которую нужно обрезать и подвязывать, а за перголой — могила моей сводной младшей сестры. Зимой я выхожу в сад в резиновых сапогах, потому что снег сразу превращается в воду, весной и осенью — тоже, потому что дерн никогда толком не просыхает, туфли в нашей деревне не нужны, у меня их всего-то одна пара, купила зачем-то на папины похороны. Хотя на кладбище не поехала, осталась дома и вымыла все полы в гостинице, босиком.

Я видела так много смерти, но ни разу не плакала — глаза горят, будто в них известь попала, а горло пересыхает, вот и все. Плакать — это особое искусство, сказала Гвенивер, хозяйка чайной, когда гадала мне в первый раз. Не все умеют плакать, многие просто роняют слезы.

Всякому понятно, что смерть — это не бой, а сдача оружия, *acta est fabula*, пьеса сыграна — в античном театре так оповещали о конце спектакля. Поэтому я обращаюсь к ней на *вы*, так разговаривают с превосходящим противником. Вежливо, но без уничижения, *dolce ma non pederasta!* как говорил один болонский дирижер на репетиции «Травиаты». А может — и не было такого дирижера вовсе. Не успеешь кого-нибудь вспомнить, как выясняется, что его не было.

Зачем мне вся правда? Я и с половиной не знаю, что делать.

Правильно говорила наша ирландская служанка в те времена, когда в доме еще натерли воском деревянную мебель

и выбивали ковры: прямо душно среди этих прямодушных людей! Теперь нет ни служанки — после смерти отца она вышла замуж, ни ковров — я свернула их в рулоны и вынесла в сарай, потому что на чистку нет ни сил, ни времени. Тем более что пол в «Кленах» теплый, пробковый, отец его сам настелил. Дом должен себя согревать, говорил он, особенно в наших краях, где сырость приходит прямо из земли, а море норовит свалиться тебе на голову.

Пора вам узнать всю правду, сказала соседка Прю, когда мы встретились у ворот, чтобы обсудить доставку молочных бутылок, *иногда правда диковиннее вымысла*. Вот кто у нас любит ирландские поговорки, но я тоже не лыком шита, для ответа у меня целый ворох Дейдриных сентенций, с детства заученных. Три вещи сложнее всего понять, сказала я гордо, разум женщины, работу пчел и игру прибора! Прю покачала головой и отправилась по своим делам, это, пожалуй, единственная женщина в деревне, которая мной интересуется — может, потому, что ее кузина подрабатывает в пансионе, а может, потому, что наши владения симметричны, разделены быстрым, прямым ручьем и на карте выглядят как стрекоза с зеленым брюшком.

Мой отель для местных жителей — странное место, не менее странное, чем вересковый холм, люди проводят там ночь, а когда выходят — никто не помнит их имен, а все их родственники давно умерли. Моего имени тоже никто не помнит, для деревни — которую у нас принято называть городом — я просто *русская* из пансиона на берегу, в лучшем случае — дочка покойного плотника, и это понятно: я проиграла, а проигравшие теряют имя. Как и те, кого внезапно разлюбили.

В маминой книге я прочла, что умершие египтяне не покорялись решению богов, но пытались торговаться с ними и всячески уговаривали определить им лучшую участь. В этом есть непривычная для христианства уверенность в себе и прелестная дотошность — я решила, что буду делать то же самое, только еще при жизни. Поэтому я никогда не продам пансион. И никуда не уеду.

Луэллин

мир ловил меня, ловил, поймал да и бросил!

я сказал это доктору майеру, когда пришел к нему в первый раз — не по своей воле, конечно, моя бы воля, ноги бы моей не было в этой полутемной комнате с короткой кушеткой, на которой приходится лежать в позе зародыша

доктор майер похож на баварского крестьянина, так и вижу его в кожаных штанах и шляпе с тетеревиным пером, доктор не смеется, не улыбается, считает религию компенсаторным механизмом и никогда не поднимает жалюзи

я ходил к нему всю зиму, осталось еще восемь прописанных встреч, хотя говорить уже не о чем: я знаю, что майер мне не поможет, для него я алкоголик, случайно, по пьяному делу, погубивший человека, чудом избежавший тюрьмы и терзаемый муками совести, настоящими, вплоть до галлюцинаций

а для себя я кто? учитель без учеников — вон из профессии! латинист, забывший все слова, кроме глаголов глотания, глаголов питья и глаголов разрушения, способный только *plurimum absum* и все вокруг себя *interficio*, кто еще? водитель без дороги — да, такова моя новая работа! любовник без либидо — сам не знаю, как у меня встает, взлетаем на чистом керосине, садимся со стимпанковым лязгом и грохотом, кто еще? человек, не способный похоронить своего отца, одним словом, *homo monstruosus*

но доктору майеру такого рода соображения представляются поражением, его задача — вернуть меня в общество, воздвигнув нравственный закон и ободрав колючую проволоку, стоило мне сказать, что я переспал с соседкой, как он заурчал и завозился за своей ширмой, уж это он точно считает своим достижением! а услышав, что я ходил со своим начальником в тир, он даже похлопал ладонью о ладонь

уайтхарт и впрямь пригласил меня в тир — он у нас на первом этаже, принадлежит китайцу, разложившему в витрине убедительные муляжи пистолетов, раньше там была пекарня и в витрине лежали румяные резиновые булки — каждый раз, приходя на работу, я смотрю на беретту М9А3 с неизбывным желанием ее украсть

китаец говорит, что эту модель не приняли на вооружение американской армии, это, мол, неудачник, проигравший все конкурсы, пасынок судьбы, зато у него есть резьба для глушителя, думаю, мы бы стали друзьями, не будь беретта резиновым пугачом, несъедобной булкой, золотистой подделкой, хотя — господи боже мой, кто здесь говорит о неподдельности?

я всегда думал, что самое острое плотское переживание, на которое я способен, — это неизвестно чей поцелуй в макушку, такое со мной случилось однажды в школе, когда я заснул в кабинете зоологии, меня там оставили на полтора часа после уроков за дурацкие вопросы про пчел — я спросил мисс финли, почему в улей с пчелами никогда не бьет гром, она сказала, что это суеверие, и стала рассказывать про какой-то нуклеус

я сказал, что недаром ведь дева мария сравнивала себя с ульем, а сына божьего с пчелой, на что мисс финли заметила, что подобные рассуждения уместны в беседе со святым отцом, а мы говорим о натуральной жизни природы, тогда я сказал, что пчела разбудила хеттского бога телепинуса, спящего на поляне, но мисс финли ничего про это не знала и разозлилась, прямо как телепинус, ужаленный пчелой в окрестностях города лихцина

когда все ушли, я сел за учительский стол, завел учительские часы и стал ждать конца наказания, положив голову на столешницу, нагретую яростью мисс финли, сначала я смотрел на чучело утконоса, потом на коллекцию жуков под стеклом, потом я думал, каково это — быть клювоголовым или, скажем, чешуйчатым, а потом я проснулся от того, что меня поцеловали прямо в голову

я открыл глаза, когда дверь класса хлопнула и кто-то быстро прошел по коридору, неизвестно чей поцелуй горел на моем темени, прямо на коже, хотя губы того, кто сделал это, прикоснулись только к кончикам волос — так в японских послевоенных фильмах изображали поцелуй через кисейный платок

несмотря на платок, я чувствовал, как лиловое вибрирующее пятно расплзается вниз к вискам и шее, наливается смородиновой мякотью, мое тело распрямилось и наполнилось

нилось, будто перчаточная кукла, в которую вставили руку, я не знал, что с этим делать, и на всякий случай встал и подошел к окну

подумаешь, поцелуй, думал я, глядя во двор, где свободные одноклассники гоняли мяч, да люди целуют все, что под руку попадет: молитвенник, чужого ребенка, пистолет, землю отечества, фишку в казино, даже покойника целуют, хотя это ни в какие ворота не лезет, я думал старательно, почти что вслух, но след от поцелуя глухо саднил, будто ушибленное место, не знаю, чем бы это кончилось, но тут запищали часы на столе у мисс фінли

если сумеете осознать свою вину, стоунбери, сказала она, то в пять можете идти домой! мой любимый поэт тоже любил слово *если* — если бы двери восприятия почистили, мир показался бы человеку бесконечным, сказал он однажды, и, будто жертвенный стол, окутался пчелиным роєм

долго не мог понять, почему от некоторых людей у меня оскомина, ведь они же совсем не кислые, многие даже сладкие на зависть или безвкусные, будто бамбуковый побег, а теперь вот дошло: они напоминают мне дикие сливы с деревца возле церковной ограды — мы с друзьями срывали их зелеными, во время июльских баталий, весь двор был усыпан растоптанными вдрызг мирабельными шариками

ребристая косточка в сливе созреть не успевала, на ее месте был мягкий белый пузырек, почти прозрачный, и в нем было что-то пугающее, ненастоящее, страшнее, чем просто косточка недозрелой сливы, — так вот, когда я разговариваю со своим шефом уайтхартом, белый пузырек недосказанности катается у меня за щекой, будто серебряная драхма у грека

нет, это никуда не годится, лу, сказал он сегодня, когда я позвонил в лондонскую контору, мы и так уже отменили два твоих занятия! так все ученики разбегутся, давай, приходи в себя, возвращайся из своего бэксфорда и завязывай!

я там еще не был, сказал я, а что завязывать-то?

послушай, сказал уайтхарт, вся контора знает, что ты называешь *бэксфордом* и каким потрепанным оттуда возвраща-

ешься! ради бога, лу, даже моя секретарша говорит о своем муже — *уехал в ирландию*, когда он застревает в каком-нибудь пабе до утра

вот как, сказал я, потому что не знал, что сказать

ну да! весело сказал уайтхарт, заканчивай там и не вздумай сесть за руль, а то снова в участок загремишь, и возьми на работу мятный спрей, завтра тебе три часа крутить баранку со старушками, он засмеялся, и я положил трубку, белый пузырек мирабели привычно лопался у меня на зубах, а ведь когда-то он мне нравился, этот круглоголовый уайтхарт, похожий на статуэтку сельского старосты, найденную в саккаре, я даже ходил с ним в паб и давился там ненавистным портером

когда ты перестанешь искать в людях свое отражение, лу? спросила меня гвенивер, когда мы сидели в чайной, кто бы ни встретился тебе — бирманский богомол или египетский стервятник, первым делом радуешься, что встретил большого, парящего, пристально глядящего, и, даже когда видишь, что рот у него в крови, думаешь, что он вегетарианец, который разок ошибся дверью

ЛИЦЕВОЙ ТРАВНИК

Есть трава кропива, добра есть в укусе топить и пить по исходу недели на тощее сердце, в том человеке тело и утробу чистит, и голове лехче живет, который человек бывал.

Настоящая женственность заключается в том, чтобы не бояться казаться смешной, думала Саша. Брать ли дешевый стропонтин в опере и сидеть в три погибели с коленями у подбородка, или повязывать дурацкий свитер на голову на ветреном пляже, или, скажем, снимать тесные туфли в кафе и шевелить пальцами — в общем, всегда поступать так, как тебе хочется, не обращая внимания на удивленные взгляды знакомых. Младшая была как раз такой, и Саша ей немного завидовала. Однажды сестра захотела новое имя и получила его — хотя все в доме над ней посмеивались, да и в городе тоже.

— Ну зачем, зачем тебе новое имя? — спросила Хедда за ужином, когда ее дочь явилась в столовую с завитками сосновой стружки в волосах.

Весь день она просидела в плотницком сарае, притворяясь глубоко опечаленной.

— Затем, что ты могла придумать для меня что-нибудь получше, — ответила Младшая, — тоже мне имечко, да так зовут половину города! Вот ее мать не поленилась, заглянула в именовслов, — она ткнула пальцем в сидевшую напротив Сашу. — Хочу, чтобы меня звали Александра! Прямо с сегодняшнего дня.

— Тебя не могут так звать, — заметил отец, когда Хедда толкнула его ногой под скатертью, — вы теперь сестры, и вас будут путать.

— Ладно, как хотите. — Младшая вынула из корзинки булочку и сунула ее в карман кофты. — Тогда я буду жить в сарае, пока меня не позовут обратно в дом, но пусть позовут по имени, как полагается: *Александра, иди домой!*

Она вышла из комнаты, высоко подняв кудрявую голову. Когда дверь за Эдной захлопнулась, мачеха покачала головой:

— Она не может сидеть там всю ночь, в конце концов, ей всего девять лет. Сходи за ней, только не сразу, пусть помучается. Почему бы не дать ей среднее имя, раз она так хочет? Пусть будет Эдна А. Сонли.

— Надеюсь, вы не собираетесь отдать ей мое имя? — спросила Саша, повернувшись к отцу. — Две Александры в одном пансионе?

— Ну... поместились же две Изольды в одном романе, — невозмутимо заметил отец. — Одна белокурая, другая — белорукая! Ладно, мы с матерью что-нибудь придумаем.

С какой такой матерью? хотела спросить Саша, но промолчала и встала из-за стола, с шумом отодвинув тяжелую скамью. Утром она обнаружила Эдну в саду, румяную и довольную, сестра шла ей навстречу с пачкой почтовых открыток.

— Погляди, — сказала Младшая, протягивая Саше открытку с маргаритками, — я написала своей тетушке в Карнарфон, и красиво как! А ты говоришь, что я пишу как варвар на обломке скалы.

Дорогая тетушка, у нас все хорошо. Лето ужасно жаркое, а море грязное.

Твоя племянница Эдна Александрина Сонли

Есть трава воронец, любовная, растет на боровых землях, цвет бел, корень красен. Угодна давать женам и девам — горети по том человеку начнут. Вельми надо знать человеку.

Дэффидду Симусу Монмуту принадлежал дом его родителей и еще — купленный в давние времена у Ваверси луг за домом, две сотни ярдов неплодородной земли с восточной стороны от шоссе.

Эти Ваверси плохо смотрели за своими воротами и совсем не смотрели за стадом, их меченные фиолетовыми ромбами овцы то и дело уходили с пастбища на дорогу и стояли вдоль обочины. Узнать об этом можно было по сердитым сигналам автомобилей, застрявших возле поворота на Ллигейн, иногда водители выходили из машин, кричали и махали руками, пытаясь напугать безмятежных животных, топчущихся в тепловой пыли. Овцы были причиной раздора молодого Монмута с соседями: ему казалось, что сгонять овец с дороги должны хозяева стада, а Ваверси утверждали, что — хозяин луга.

Продавая землю после войны — *во времена перченой ветчины*, как говорил старый Монмут, — Ваверси выговорили себе право пасти там овец, они знали, что скудный луг нужен был владельцу лишь для того, чтобы отделить имение от дороги.

В купчей об этом ничего не говорилось, и Дэффидд в любую минуту мог запретить соседям топтаться в своих папоротниках, мог даже обнести луг проволокой и пустить туда собак, тем более что у него в доме жили два каштановых бриара, совершенно отупевшие от безделья. Но Дэффидд этого не сделал, и Саше это нравилось.

Еще ей нравилось его лицо, мягкое, как замазка, — казалось, что, прикоснись она к его щеке, пальцы уйдут в нее до самых ногтевых лунок. Правда, когда ей все-таки пришлось прикоснуться, оказалось, что на ощупь лицо Дэффидда напо-

минает камышовый султан, нет, скорее — перчаточную замшу, тонкую и слегка ворсистую.

Сашу, в отличие от многих, не раздражала ни его школьная, трогательно внятная речь — *видите ли, фиалки, без сомнения, любят тень*, говорил он, показывая гостям свою клумбу, — ни его утлая элегантность, ни любовь к елизаветинским поэтам. Ей нравилось, что учитель *строит из себя*, как говорила миссис Ваверси, и, если бы он взял, например, моду подписывать классный журнал «Д. С. Монмут, эсквайр», Саша бы даже не засмеялась: да, он был не как все, и она собиралась за него замуж.

Дом Монмутов расположился на обрыве, между двумя еловыми рощами, отделенными от угодий провололочной оградой, его створчатые северные окна смотрели на бухту, а южные — на Птичью пустошь. На террасе стояли каменные урны, из которых торчали пожухшие на морском ветру кусты барбариса, яблоневого сад за домом безнадежно зарос, потому что садовника у Монмута не было.

Александра приходила сюда не часто — дом казался ей пустоватым, несмотря на обилие гобеленов и потертых ковров, к тому же ей не нравился холодный каменный коридор, разбивающий первый этаж на две половины. Ей казалось, что это один из тех замковых ходов, что ведут в колодцы-ловушки или в потайные тоннели, откуда вечно слышатся звуки волынки, и что в доме учителя он неуместен, как, скажем, молоко красной лани в школьной столовой.

Таким же неуместным казался ей дуэльный пистолет с позолоченными полками, висящий в библиотеке, где учитель обычно спал зимой, чтобы не топить в спальне, — на кушетке возле маленькой чугунной печки. Предки Дэффидда были учителями и фермерами, никому из них и в голову не пришло бы вызывать кого-то на дуэль, но Монмут утверждал, что это фамильная вещь, и держал пистолет наготове — вычищенным и заряженным.

Есть трава земленица. Добра та трава очи парить, у кого преют, а парить с листом смородинным, а корень, у кого зубы болят, и клади на зуб, и от того уймется.

Первую страницу дневника Саша написала, когда умер отец. Несколько дней она ходила по дому, закусив губу, потому что слова, будто черная, смолистая нефть, хотели вырваться и затопить все вокруг, но обратиться ей было не к кому, последний собеседник — отрешенный, неласковый — уже покинул дом. Говорить с сестрой и мачехой было все равно что *попусту растрачивать дыхание*, так это звучало на английском, но Саше больше нравилась русская версия: швырять слова на ветер. Попытка выплеснуть черную нефть, занявшись делом — мытьем полов, стрижкой можжевельной изгороди, — оказалась бесполезной, и, дождавшись вечера, Саша достала из школьной сумки сестры тетрадь и синий карандаш.

Некоторые думают, написала она на первой странице, что существовать можно только тогда, когда люди знают, что ты существуешь. Может, оно и так, а может, и нет. А вот ненавидеть — это я точно знаю — можно только тех, кто знает, что ты их ненавидишь. А иначе какой от этого прок?

На второй странице она в столбик написала несколько имен, которые теперь незачем было произносить. Лиза Сонли. Уолдо Сонли. Дейдра. Помм. Электрик Стайнбаум.

Служанка Дейдра из Абертридура — ужасная растеряха, зато красавица — рассказывала Саше про угольные отвалы, окружавшие шахтерские поселки наподобие крепостных стен, плавильные печи, рассыпающие красные искры, угольную пыль, привычную, как вкус горелого хлеба, ущелья, похожие на край света, где туман заползает в рот и лошади окунают копыта в пустоту.

Самым любимым рассказом Дейдры, от которого у Саши вся спина покрывалась мурашками, была история ллануитинской общины — поселка, сто двадцать лет назад ушедшего под воду целиком.

Все сорок домов и церковь Святого Иоанна Иерусалимского! Их проглотило проклятое водохранилище, говорила служанка, округляя блестящие голубые глаза, и Саше представлялось чудовище в голубой чешуе, разевающее пасть с голубыми зубами. Такие зубы бывали у нее самой, когда она возвращалась из леса с корзиной терновых ягод для *цыганского сиропа*, ягоды густо пачкали лицо и рот, а на дне корзины пускали голубоватый сок, оставляющий несмываемые пятна.

Когда Саше исполнилось девять лет и она стала писать стихи, Дейдра прочла несколько страниц, подумала немного и сказала с важностью:

— Ну что ж, детка, похоже, боги помазали твои губы майским медом и кровью мудреца. Так они поступают с теми, кому суждено складывать слова. Губы помазали даже барду Талиесину, ты будешь проходить это в школе.

— Кровью? Какая гадость, — сказала Саша и блаженно улыбнулась.

ТАБИТА. ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Саут-Ламбет

Тетя Джейн, дорогая, у меня новости!

Во-первых, мистер Р. обещал перевести меня на второй этаж, там двойные окна с жалюзи и нет сквозняков. Больше не надо будет носить с собой шарф и шерстяные носки. Во-вторых, я починила кофейную машину и начинаю день с чашки эспрессо, только зерна молоть приходится помельче, иначе она засоряется и ужасно клокочет. Обошлось всего в девятнадцать фунтов.

В-третьих, у меня появился сосед по площадке. В той самой квартире, где жил этот ужасный человек со своей ужасной семьей, надеюсь, этот будет вести себя потише и не станет стряпать кесадильяс всю ночь напролет.

Он уже взялся за благоустройство: поставил звонок вместо двух голых торчащих проволочек и прикрутил на дверь номер 6. Я видела нового соседа мельком, он довольно высокий, хмурый, носит очки в тонкой оправе — оправка блестит, как золото, но, будь это золото, зачем бы ему селиться в Южном Ламбете?

Хобарт-пэншн все-таки жуткая дыра, на лестнице вечно окурки, несмотря на железные пепельницы на каждом углу, а у меня в ванной снова протекла труба, и приходится то и дело подставлять салатную миску.

От этой хозяйки-австралийки с голубым перманентом не дождешься неоплаченных благодарений, нечего и надеяться!

Да, так вот. Не знаю, как зовут нового соседа, надо бы подглядеть у консьержки в списке жильцов, но смотреть на него приятно, хотя толком поздороваться мне пока не удалось. Зато вчера я как следует его разглядела — в дверной глазок, пока он возился со своим новым звонком.

У него худое красивое лицо и сто лет не стриженные волосы пепельного цвета, хотя, на мой взгляд, к такому лицу подошел бы короткий убедительный ежик, на военный манер. Еще у него тяжелая походка, хотя весит он не больше ста сорока фунтов, и привычка выходить с зонтом. Глаза я пока что не разглядела. Передавай дяде Тимоти привет и скажи, что я пришлю ему эту книжку про кактусы, как только найду время съездить в центр и доберусь до Уотерстоунз.

Не простужайся, не выходи без шарфа.

Твоя Табита

Луэллин

утром я купил билет в бэксфорд, но не уехал, потому что не смог

ирландский залив все так же катит свинцовые волны, зрение моего отца сливается с солнцем, вкус — с водой, речь — с огнем, но ни одно из перечисленных свойств не перейдет ко мне, как предсказывают упанишады, потому что я второй год не могу добраться до кладбища баллимерн, и в этот раз тоже не доберусь

я уже второй час сижу в *трилистнике* и думаю почему-то о поэзии — может быть, потому, что на моем билете грязновато напечатан портрет дилана томаса в рыбацкой шляпе с отворотами? вот так умрешь, а твое небритое лицо станет логотипом паромной компании

билет уже перестал быть билетом, но выбросить жалко, мятая бумажка с числом и часом несостоявшегося отплытия — это уже пятый билет, а может, и шестой, который я оставляю в корзине для мусора, пять раз по шестьдесят фунтов, это ящик пендерина в зеленой коробке с красным драконом или два ящика непроглядно черной водки файв, беспечальная неделя, поток благодатного молчания

я мог быть в бэксфорде через четыре часа, но не буду там и через четыре года, я пью холодный чай и разговариваю с хозяйкой гвенивер, она рассказывает о вчерашних похоронах зеленщика — с таким удовольствием, с каким рассказывают о венчаниях

у гвенивер чудесное лицо — густо напудренное, в щербинках и пигментных пятнах, оно напоминает мне старый корабль на паромной переправе, с облупленным носом и ржавыми перилами, которые суровый матросик по утрам подновляет белой краской, расхаживая всюду с кисточкой и пластиковым ведром

двадцать четыре белые гвоздики с зеленью, золотые виньетки, черные ленты прилагаются, говорит она с восторгом, ну да, точно такой венок я купил, когда в первый раз не уехал в ирландию — я сидел на этом же стуле, прислонив венки к стене, и провожал глазами отходящий от пристани паром с надписью *ноффолк* на грязно-белом боку

что же это у вас все мрут тут, как мухи? спросил я у гвенивер, спросил и смутился: хозяйка уже много лет была вдовой, при мистере маунт-леви здесь был паб под названием *кот и здравца*, в нем было четыре футбольных телевизора и ни одной фаянсовой креманки с медом

когда я смотрю на эти креманки, то вспоминаю осовевших ос в блюдец с вареньем на веранде нашего дома, ос можно было вынимать ложкой и класть на траву, некоторые так и не просыпались от клубничного сна и лежали возле веранды, постепенно сливаясь с землей

...мрут, как мухи? ты слишком много рому подливаешь себе в чайную чашку, нахмурилась гвенивер, вынь эту фляжку из кармана и поставь на стол! что до похорон, то я, право, не вижу здесь ничего странного — в каждом городе бывает время, когда жители умирают один за другим, так города очи-

щаются от людей, понимаешь, лу? некоторые люди это чувствуют и уезжают сами, не дожидаясь, пока на них свалится камень со скалы эби-рок или наедет очумелый велосипедист

я достал фляжку и вылил остаток рома в остывший чай, гвенивер взглянула на часы, поднялась и, сложив на поднос грязную посуду с моего столика, направилась в кухню — ей бы и в голову не пришло напомнить мне, что уже шесть часов, мой паром уже на половине пути в ирландию и скоро последний автобус на свонси отойдет от супермаркета в верхнем городе

я ведь — упаси, господи — мог подумать, что мое присутствие ей в тягость

кобальтовые тучи, с утра зависавшие над морем, потемнели, набухли и пролились коротким дождем, вода в канале сразу же поднялась шапкой грязной пены

направляясь в *небесный сад* — заведение, где к пиву подают маринованные яйца, потому что хозяин родом из чешира, — я решил, что переночую в комнате над баром, а завтра вернусь домой на радость начальнику

пробираясь по дуайн-стрит, я услышал за спиной медный звон и посторонился, прижавшись к стене: вверх по улице ехала пожарная машина, двое парней в кабине были похожи, будто сицилийские демоны-близнецы, на повороте машина застряла, слегка прижав меня колесом к стене, стой спокойно, приятель, сказал один из демонов, появляясь со стороны насоса и протягивая мне руку, теперь не дыши и протискивайся потихоньку

я принялся отряхивать испачканное известкой плечо, стены на дуайн побелены на совесть, водитель ухмылялся из кабины, его напарник похлопал меня по спине: слушай, приятель, выйди вон туда и помаячь, чтобы никто с перекрестка не выскочил — а то на хай-ньюпорт выгорит весь переулок, там еще четыре дома в огнеопасном кустарнике — шевелись, парень! по дружбе, да, парень?

по дружбе — думал я, стоя в луже и сурово оглядывая улицу, — нет никакой такой дружбы, приятель, и слово-то

неудачное, в нем ужиное из-под камня скольжение, рыбий жир в чайной ложке, какая еще тебе дружжжба, пожарник?

все эти люди, встреченные в зябкой толпе, зацепившиеся за тебя заусеницей жалости, щербатым краем зависти, — все эти люди только тем и хороши, что с ними можно словом перекинуться, а с другими и перекинуться не о чем, только тем и хороши, что без них забыл бы, каково это — брать чужую руку в свою, стучать по плечу, улыбаться, на ходу прижиматься безучастной щекой

или вот еще — разговоришься с ними по пьяному делу, *разгрузишь трюмы*, наскачешься от радости и думаешь, что приблизился, завязал узлы, практически причалил, а утром проснешься на пристани — только лохматый кусок веревки в руках, уже заселенный муравьями, а друзья твои отдали швартовы, у них свои дела, трезвые, крепкие, самый малый ход вперед

не прошло и двадцати минут — я как раз вышел из *якоря*, терпения не хватило добраться до чеширской пивнушки, — как пожарники снова показались на дороге и, заметив меня на обочине, остановились

повезло этой ведьме на хай-ньюпорт-стрит! с сожалением сказал старший демон, открутив кабинное стекло вниз и выставив острый локоть, все дождем залило, даже разгореться толком не успело! о поджоге мы, конечно, доложим куда следует

что же ведьма — жива? спросил я, чувствуя, как в левый ботинок потихоньку затекает вода, а что ей сделается! пожарник обернулся к водителю, и оба улыбнулись весело и страшно, на, возьми вот! водитель протянул мне глянцевую карточку из окна кабины, не ровен час, у тебя что-нибудь вспыхнет, не стесняйся, звони

они сговорились заранее, в этом нет никаких сомнений: когда я сел за столик в пабе, они беседовали так гладко и оживленно, что я почти сразу понял — это заговор!

сегодня у плотника было нарочито пресное лицо, а у суконщика дрожала верхняя губа, как будто он вот-вот заплачет,

а может, у меня просто перед глазами все дрожало — я ведь перед *небесным садом* еще в *якорь* зашел на стаканчик — так дрожало, что кошку суконщика, спящую на стуле, я поначалу принял за оставленную кем-то грязную шляпу

представь, она завела двух здоровенных псов, чтобы никто к ней в сад не залез, заявил суконщик, скосив на меня глаза, еще бы — там ведь могила ее убитой сестры, ясное дело, народу такое не нравится, вот кто-то и бросил ей за забор подожженную тряпку с бензином!

ну, положим, могилу никто не видел, возразил плотник, а насчет собак — лет десять назад ей привезли из приюта двух щенков в чесотке, и она их выходила

да брось, отмахнулся суконщик, все знают, что она может порчу наслать — вот и лейф говорит, что у него крышу чуть не снесло ураганом, стоило ему с хозяйкой *кленов* поссориться, так что ворота ей за дело подожгли, и это еще не конец

зато она до сих пор заплетает косу, гордо сказал плотник, а в детстве у нее был красный велосипед, один такой на весь город, из ирландии было видать, как спицы блестят! особенно зимой, на свежем снегу, на нем потом и сестра ее младшая каталась, александрина

и где теперь эта сестра, проворчал суконщик, а твоя ведьма ни дать ни взять шумерская царица, та, например, обиделась и повесила голую сестру на крюк!

убийство ради царского трона — еще куда ни шло, я наконец вмешался, чтобы доставить им удовольствие, или, скажем, замужество из мести

верно, от шумеров до кельтов рукой подать! провозгласил суконщик, поглядывая в сторону кухни, откуда к нам не спеша направлялся патрик, бутылки с пивом он держал между пальцами за горлышки, будто подстреленных уток

САША СОНЛИ

Хорошенькое дело: выйти из дома в рассуждении выпить чаю в деревне, попасть под дождь, пройти половину дороги в мокрых ботинках и вспомнить, что чаю выпить теперь негде. Рез-

ные красные двери чайной для меня закрылись, хотя я ничего плохого не сделала Гвенивер Маунт-Леви. Как, впрочем, и никому другому в этом городе.

Dim gwerth rhech dafad, как сказал бы отец, страшно любивший местные ругательства, не думай об этой ерунде, так это стоит понимать, хотя речь там идет об овце, которая шумно испортила воздух.

Они любили мою невыносимую сестру, звали ее *muffin* и *sugarplum*, а меня не полюбят — даже если я подарю всем по серебряной ложке, и не пожалеют — даже если мой дом сгорит. Кто-то уже пытался поджечь его в понедельник. Если бы не ливень, огонь добрался бы до папиного сарая, полного опилок, и дому пришел бы конец — а так обгорели только ворота, угол гостиной и два оконных стекла лопнули.

Вот о чем хотела сказать мне соседка Прю, поглядывая на меня с сочувствием, вот такая *вся правда*. Ее кузина Финн подрабатывает не только в «Кленах», она берется за любую работу, за детьми присматривает, готовит на свадьбах, помогает на окрестных фермах. Она отлично знает, кто пришел сюда с банкой керосина, плеснул через забор и бросил спичку. Кому в деревне нужен керосин? Рыбакам, выходящим в море с керосиновой лампой на корме, и тем, кто по старинке обрабатывает деревья в саду — таких можно по пальцам пересчитать, но я не стану.

Ладно, кроме чайной есть и другие возможности. Выйти к старому форту, например, и смотреть, как в небе занимается холодная синева, а мелкое лимонное солнце выпростывается из холмов понемногу. Потом добрести до грузового порта, подойти к ограде пристани, туда, где уши и рот забивает туманом, а тишина становится вязкой. Подняться на утес Эби-Рок и вспомнить, сидя на черном валуне, о чем я думала в то январское воскресенье, когда захотела смерти своей сестры.

Отсюда тело будет лететь вниз, пока не ударится о выступ скалы, потом оно упадет между камнями, похожими на спины морских котиков, лоснящиеся на солнце. Потом тело ударится о кипящую черную воду прибора, но сестра не услышит всплеска, не услышит голосов взметнувшихся птиц. Так я думала,

сидя на черном валуне, хотя вовсе не собиралась сбрасывать сестру со скалы. Просто когда думаешь о чьей-то близкой смерти, ярость быстрее проходит.

Двадцать первое июня. Письмо из отеля «Хизер-Хилл» пришло неделю назад вместе со счетами и брайтонской открыткой от миссис Треверскот. Эту даму я помнила довольно смутно, кажется, у нее был смешной подбородок долотом. Да, верно, было начало весны, они с мужем сильно замерзли, гуляя вечером по берегу, и я согрела им на ночь красного вина с гвоздикой. Люди бывают тебе благодарны за неожиданные мелочи и совершенно не замечают благодетелей, в которых заранее уверены.

А может, это были другие постояльцы, прошлой весной их было довольно много, я, помнится, даже растерялась и пригласила помогать родственницу Воробышка Прю. За семьдесят пять фунтов в неделю. В этом году пансион пустует и работы немного, но соседская Финн прижилась и вовсе не думает уходить.

Я распечатала письмо и оставила его на столе, чтобы мама прочитала: меня с великим почтением приглашали на кофе в отель «Хизер-Хилл». Мама читает все, и мой дневник, и мою редкую почту, я точно знаю, что читает — полгода назад я нашла двадцатифунтовую бумажку в самой середине травника. Как раз в тот день я собирала мелочь по всем ящикам комодов, чтобы купить кофе и туалетную бумагу, — в доме может быть шаром покати, но в нем должно быть и то и другое.

«Кофе в сумерках с *Dura*, в синей гостиной, в субботу, в пять часов пополудни». Меня в нашей деревне никуда не зовут, хозяйева гостиницы об этом не знают, им еще никто не сказал. Конверт с приглашением лежал на видном месте, посреди кухонного стола, и как будто светился, так в темноте светятся окна большого отеля, когда смотришь на них с вершины холма. Иногда, в тихую погоду, оттуда доносятся автомобильные гудки и дивные невразумительные звуки чужого веселья.